ЭММА

ВАЛЕРИЙ РЯБИНИН

18+

Валерий Рябинин

ЭММА

«Автор»

2026

Рябинин В.

ЭММА / В. Рябинин — «Автор», 2026

Штирия, 1348 год. Над полями стоит последнее спокойное лето перед чумой. Девятнадцатилетняя Эмма жнёт рожь, бережёт угли под золой и не знает, что её деревню давно вычеркнули из истории. Однажды ночью, под беззвучными сполохами в небе, она бежит из дома — и прорывает стену, которую не видел ни один человек её века.Далеко в будущем, в Центре «Хронос-7», на экранах вспыхивает тревога. Беглянку нужно вернуть любой ценой, пока её шаги не изменили всё, что случится потом. В прошлое уходят агенты под видом купцов из Граца. А в замке герцога Эмму уже ждут: священник, которому нужна истина, советник, которому нужна шпионка, и капитан, который боится её больше, чем бесов.«ЭММА» — роман о том, что делает человека собой: кровь, память или выбор. О холодной науке, которая меряет чужие жизни сроками их гибели. И о девушке, которой предстоит узнать о себе больше, чем она когда-нибудь хотела бы знать.

© Рябинин В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Времяжатвы 5
Конец ознакомительного фрагмента. 33

Валерий Рябинин
ЭММА

Глава 1. Времяжатвы

Угли пережили ночь.

Эмма разгребла золу щепкой, и под серой шубой проступил тёмно-красный жар, сонный и тёплый, как бок разомлевшей собаки. Три соломинки, щепоть сухого мха, долгий бережный выдох — и над очагом закачался первый язычок пламени, тонкий, словно травинка. Мать доверила дочери огонь в ту зиму, когда Эмме минуло десять. С тех пор каждое утро в доме Хофферов начиналось с её дыхания над золой.

За оконцем, затянутым бычьим пузырём, едва серело. Во дворе кузнеца, за плетнём, петух пробовал голос: хрипло, вполсилы, словно сам сомневался, пора ли будить Эрленбах. Под лавкой завозилась курица, сердито квохнула и снова спрятала голову под крыло.

Дом Хофферов умещался в одну комнату, и вся жизнь в нём шла на виду. Бревенчатые стены, проконопаченные мхом, за годы пропитались дымом до смоляного блеска. Над лавкой на деревянных колышках висели серпы, мотки верёвки, отцовская шапка с обвисшими полями. Плетёная перегородка из ивовых прутьев отгораживала угол, где спали родители. На старой овчине у очага раскинулся одиннадцатилетний Ганс — на спине, руки врозь, будто и во сне ловил кого-то в охапку. Под боком у брата, уткнувшись носом ему в подмышку, сопел семилетний Петер.

Ковш нырнул в бочку у двери. Вода за ночь настоялась и отдавала деревом и чуть-чуть ржавым обручем. Горсть в лицо, вторая на шею, под тяжёлую косу, — и остатки сна стекли вместе с каплями за ворот рубахи.

За перегородкой заворочался отец. Кашель поднялся из самой глубины его груди, долгий, трескучий, с сиплым хвостом на выдохе, — привычный, как скрип двери. Двадцать зим Конрад Хоффер провёл у угольных ям в лесу: стерёг тлеющие кучи, спал вполглаза в шалаше из лапника, дышал сизым дымом с октября по март. Дым въелся в его грудь, как в стены дома. Каждое утро отцовские лёгкие понемногу выкашливали эту копоть, а каждая новая зима набивала их заново.

Мать показалась из-за перегородки уже одетой. Платок Агнес Хоффер затянула одним резким рывком, как затягивают горловину мешка с зерном, и первым делом глянула на очаг. Огонь ровно лизал закопчённый бок горшка. Короткий кивок, одним подбородком. Эмме такого кивка хватало до самого обеда.

— Корова, — сказала мать.

Подойник висел на своём колышке у двери. Эмма сняла его и шагнула в хлев, пристроенный к дому под одной крышей. Тёплая темнота пахла навозом, сеном и парным молоком. Корова повернула к ней лобастую голову и шумно выдохнула, обдав ладонь влажным теплом. Из дальнего угла, из-за жердей, высунулась тёлка — рыжая, с белым пятном во лбу, за которое её и прозвали Звёздкой. Мокрый нос тут же ухватил Эммин рукав, и тёлка принялась жевать его с деловитым усердием.

— Отдай, разбойница.

Пальцы нашли у Звёздки на лбу, под самым пятном, два твёрдых бугорка будущих рогов и почесали между ними. Тёлка зажмурилась и замерла, подставив голову. Позапрошлой весной Эмма сама принимала её, скользкую, на разъезжающихся ногах, и сама учила пить с пальцев, макая их в молоко.

Первая струя звонко ударила в пустой подойник, следующие зажурчали глуше и мягче, по мере того как поднималась пена. Щека прижималась к горячему коровьему боку, руки работали сами, а уши ловили, как просыпается дом. Звякнула крышка горшка. Ганс спросонья пробурчал что-то про ложку. В ответ тут же заныл Петер: ложка его.

Спорили братья из-за ложки с зарубкой. Самую обычную липовую ложку отец когда-то пометил ножом, чтобы отличать от прочих, и с тех пор она считалась в доме лучшей, хотя черпала ровно столько же каши. Ганс сжимал добычу в кулаке и держал над головой. Младший прыгал вокруг и цеплялся за его рубаху.

— Мне сегодня! Вчера ты брал!

— Вчера ты сам отдал. За кузнечика.

— Кузнечик удрал!

Мать, стоя спиной к ним, стукнула черпаком о край горшка. Один раз. Ложка тут же легла на стол, и оба брата опустились на лавку с видом святых мучеников.

Ячменную кашу мать забелила утренним молоком и выставила горшок на середину стола. Отец вышел к завтраку, огладил усы, перекрестился на угол, где темнело маленькое деревянное распятие, и сел во главе. Угольная чернота жила в каждой трещинке его ладоней, в лунках ногтей, и даже щёлок весенней бани вытравливал её лишь наполовину.

Ели молча, как едят перед тяжёлым днём. Ганс улучил миг, когда мать отвернулась к полке, и сунул за пазуху краюху хлеба — на поле, про запас. Всё это мать заметила краем глаза. По её губам скользнула тень улыбки, и краюха осталась там, куда её спрятали.

— Генрих вчера у колодца сказывал, — отец отложил ложку. — Завтра считать придут. Десятину.

— Опять монастырского брата пришлют? Того, рябого?

— Рупрехта.

Мать обернулась.

— Мельника?

— Откупил он её нынче у монастыря. Всю, со всех наших полей. Сам и считать станет.

Ложка Ганса застыла на полпути ко рту. В очаге щёлкнуло полено.

Мать медленно вытерла руки о передник.

— Выходит, наши снопы придёт считать тот, кому мы с весны должны.

— Выходит, так.

— У него на бирке каждая наша горсть зарублена, Конрад.

— Отдадим. — Отец снова взял ложку, повертел в пальцах и положил обратно. — Как уговорено, с верхом. Хлеб нынче добрый, Агнес. Отдадим.

Тот мартовский вечер Эмма помнила до мелочей. Прошлым летом град выбил у Хофферов половину ржи, к весне в ларе забелело дно, и отец ушёл на мельницу с пустым мешком. Вернулся он затемно, с полным мешком семенного зерна за плечами и с таким лицом, словно тащил на спине мельничный жернов. Всю ту ночь за перегородкой шептались и кашляли.

Эмма поднялась, соскребла со дна горшка остатки каши и добавила отцу в миску. Отцовский взгляд скользнул с дочери на кашу, и миска поехала через стол к Петеру. Младший просиял и заработал ложкой так, будто его месяц морили голодом.

Перед выходом Эмма сняла с колышка над своим тюфяком головной платок. Пальцы привычно скользнули в щель между брёвнами и нащупали тугой узелок из тряпицы. Два медных пфеннига. Весь июль она продавала яйца мельничихе Кунигунде и складывала выручку сюда, по монетке. На прошлой неделе костяная игла матери хрустнула пополам над отцовской рубахой, и с тех пор Агнес брала иглу взаймы у жены кузнеца, всякий раз благодаря сквозь зубы. К празднику в Эрленбах заглядывали торговцы. Стальная игла стоила у них как раз два пфеннига.

Узелок вернулся в щель, поглубже.

Из дома вышли, когда над холмами за ручьём проклюнулось солнце. Дым над крышами тянулся к небу ровными столбиками: третью неделю над Штирией стояла сушь, и воздух густел с самого утра, как мёд в тепле. Эрленбах просыпался разом, всеми дворами. Скрипели ворота, звякали вёдра, кто-то на весь конец звал заблудившуюся козу. С дальнего края деревни пропел рожок: старый Курт собирал стадо, и коровы одна за другой выходили на улицу, мотая головами и оставляя в пыли первые лепёшки. Соседи тянулись к полям с серпами на плечах, перекликались через плетни, зевали, крестились на церковь. Колокольня, выбеленная известью, первой поймала солнце и засияла над соломенными крышами.

Отец шагал впереди, мать следом, за ней Эмма с кувшином воды на бедре. Братья носились кругами, как молодые псы, и угомонились лишь тогда, когда мать поймала Петера за ворот.

***

Пшеница Хофферов дожидалась хозяев на нижнем поле, за ручьём, последней нетронутой полосой. Колос налился тяжело, наперекор суши, и клонил к земле усатые головы, словно кланялся. Соседние полосы уже щетинились жнивьём, и по нему ползли длинные утренние тени от копен.

Отец перекрестился, поплевал на ладони и первым вошёл в хлеб.

По правую руку от него, на шаг позади, встала Эмма — так они жали из года в год. Левая рука захватывает пучок стеблей. Серп входит под него низко, у самой земли. Короткий рывок на себя, сухой хруст — и горсть ложится на свясло. Захват. Рывок. Горсть. Тело помнило эту песню лучше головы, и через десяток горстей руки уже шли сами, а мысли плыли над полем вместе с пылью.

Следом двигалась мать и вязала снопы. Скручивала жгут из тех же стеблей, охватывала им горсти, затягивала коленом, прятала узел внутрь — одним движением, быстрым, как щелчок кнута. Ганс и Петер оттаскивали готовые снопы к краю полосы, где отец ставил копны: десять снопов колосьями вверх, шалашиком, и одиннадцатый сверху, шапкой, от дождя. В нынешнюю сушь шапка смотрелась насмешкой, но так ставили копны деды, и отец ставил так же.

Солнце карабкалось вверх, и вместе с ним карабкался жар. К середине утра воздух над жнивьём поплыл, как над костром. Пот заливал глаза, рубаха липла к лопаткам, остья колосьев царапали запястья и забивались в рукава. Пыль скрипела на зубах. Время от времени Эмма распрямлялась, смахивала мокрые пряди со лба тыльной стороной ладони и снова сгибалась к земле.

Справа от Хофферов жали кузнецы, и голоса их разносились на всё поле. Вальтер, огромный, красный, с плечами как дубовая колода, жал и пел — громко, фальшиво, про пастушку и монаха. На самых солёных местах жена лупила его снопом по спине, и песня прерывалась хохотом. Их старший, Лукас, работал молча и держался вровень с отцом. Двое младших кузнецовых сорванцов больше дрались, чем таскали снопы.

Слева, на узкой полосе вдовы Димут, дело шло трудно. Лихорадка унесла её Якоба за три дня, перед самым Рождеством, и с тех пор вдова тянула хозяйство одна, с тремя детьми на руках. Жала Димут наклонившись так низко, что платок почти мёл стерню. Девятилетний Михель вязал за ней снопы, путался в жгутах, и снопы то и дело разваливались у него в руках. Средняя, Лена, волокла их к копне по одному, прижимая к животу, как щенка. Младшая, трёхлетняя Анни, спала в тени копны, подложив под щёку материн свёрнутый передник.

Мать поймала Эммин взгляд и едва заметно повела подбородком в сторону вдовьей полосы.

Кувшин с водой ждал в тени дикой груши на меже. Эмма налила воды в деревянную кружку, отнесла Лене и Михелю, а заодно присела рядом с мальчишкой на корточки.

— Смотри. Жгут кладёшь вот так, крест-накрест. Коленом прижал, конец под низ. Затянул. Теперь пробуй.

Михель засопел, прижал сноп коленом, затянул. Жгут выдержал. Мальчишка поднял сноп над головой, как трофей, и Лена захлопала в ладоши.

— Спаси тебя Бог, девонька, — Димут выпрямилась, держась за поясницу, и усталое лицо её на миг разгладилось.

Ближе к полудню по меже зацокали копыта. Мельник Рупрехт объезжал поля на сером муле — в чистой рубахе, в новой войлочной шапке, с сытым круглым лицом, гладким, как пшеничный каравай. На его собственных полосах с рассвета гнули спины наёмные работники, а сам хозяин приглядывал за ними с седла. Возле Хофферов мул остановился.

— Бог в помощь, Конрад!

— Спаси Бог. — Отец выпрямился и опёрся на серп.

— Тучный у тебя нынче колос. — Мельник прищурился на ряд копен, и улыбка тронула одни только губы. — Тугой. Такой и считать любо.

— Завтра и сочтёшь.

— Сочту, сочту. — Рупрехт тронул мула пятками. — Каждый сноп сочту, уж поверь.

Мул двинулся дальше, мимо вдовьей полосы. Мельник окинул жидкие копны Димут долгим взглядом, покачал головой и поехал прочь. Бригитта, жена кузнеца, сплюнула ему вслед.

— Ишь, барин. Мукой напудрился — и уже граф.

Вальтер захохотал, Лукас хмыкнул, а отец Эммы снова согнулся над пшеницей и до самого межевого столба гнул спину, уткнувшись взглядом в стерню.

— Воды, — хрипло попросил он наконец и вытер лицо рукавом.

Эмма сбегала к груше. Вода в кувшине давно согрелась и отдавала глиной, но отец пил жадно, большими глотками, и капли стекали по заросшему щетиной подбородку на рубаху.

— Полдень, — сказал он, возвращая кувшин. — Шабаш. Отдыхаем.

Под грушей собрались всей семьёй. Дикая груша росла на меже с незапамятных времён, кривая, в колючих наростах, и кормила округу мелкими жёсткими плодами, которые вызревали только к октябрю. Зато тень от неё лежала густая, как вода в колодце. Мать развязала узелок: ржаной хлеб, три луковицы, кусок сыра, горсть соли в тряпице. Из-за пазухи Ганс торжественно извлёк утреннюю краюху, помятую и тёплую.

— Вот, — объявил он. — Про запас.

— Вот и пригодилась, — сказала мать, и все засмеялись, даже отец.

После еды отец сразу задремал, накрыв лицо шапкой. Мать достала из поясного кошеля моток ниток и принялась штопать Петеру рубаху — чужой, кузнецовой иглой. Братья отползли в стерню ловить кузнечиков и вскоре затеяли спор, чей прыгает дальше.

Марта примчалась со стороны отцовской полосы, через жнивьё, напрямик. Платок сбился на затылок, щёки пылали, и дышала она так, будто за ней гнались. Схватила Эмму за руку и утащила за корявый грушевый ствол, подальше от чужих ушей.

— Отец вчера с Рупрехтом пиво пил, — выдохнула она. — Два кувшина. У нас, в горнице. А бабка потом сказала, что так пьют только на сговоре.

Эмма медленно опустила на колени недоеденную луковицу.

— Сговор? За Фрица?

— За Фрица. — Марта рухнула в траву и закрыла лицо ладонями. — У него уши как у телёнка. И руки вечно в муке. А смеётся — будто телега по мёрзлой колее тарахтит. Я за него пойду — и что? Всю жизнь с его рукавов муку стряхивать?

— Зато хлеба у тебя всегда вдоволь.

Марта отняла ладони от лица, нашарила в траве зелёную падалицу, твёрдую как камень, и запустила в подругу. Груша отскочила от Эмминого плеча и укатилась в стерню.

— Бабка то же самое твердит! «У мельника хлеб всегда». А мне что с того хлеба, если к нему Фриц в придачу?

Эмма обняла подругу за плечи и притянула к себе. От Марты пахло потом, соломой и сухой полынью.

— Поговори с отцом. Сама. Сегодня же. Пока у них одно пиво, без рукобитья.

— Поговоришь с ним… — Марта шмыгнула носом и затихла. Потом, как всегда, без перехода, заговорила о другом: — А вот уйти бы. В Грац. Торговцы сказывают, там дома из камня, в три яруса, одни над другими. На рынке шелка продают, заморские, и перец, и финики сладкие, как мёд. А по улицам господа ходят в красном сукне, в башмаках с длинными острыми носами. — Она запрокинула голову к ветвям. — А тебя, Эмма, куда тянет? Хоть раз — за холмы?

Эмма пожала плечами и кивнула на тень под грушей.

— Сюда. В тень.

— Я всерьёз!

Всерьёз… Эмма обвела взглядом поле. Под шапкой мерно вздымалась широкая отцовская грудь. Стежок за стежком ложился из-под материных пальцев, и чужая стальная игла вспыхивала на солнце. По стерне на четвереньках ползали Ганс с Петером, ловя одного и того же кузнечика. Вдали, на жнивье, Курт гнал овец и что-то выговаривал своему лохматому псу. За ручьём над соломенными крышами Эрленбаха белела колокольня.

— Здесь всё моё, Марта. Отец, мать, эти двое. Звёздка. Груша эта кривая. — Эмма помолчала. — Даже твой Фриц с его ушами.

Марта взвизгнула и ткнула её кулаком в бок, и обе повалились в траву, давясь смехом. Из-под отцовской шапки донёсся всхрап, и от этого им стало ещё смешнее.

После полудня работа пошла тяжелее. Жар загустел, тени укоротились до пятачков под ногами, серпы потяжелели вдвое. Бригитта, охая, ушла в деревню раньше всех — ставить похлёбку на всю кузнецову ораву. Кузнец пел теперь вполголоса и всё больше про пиво. Мало-помалу солнце перевалило через вершину неба и поползло к лесу, и копны отбросили на жнивьё длинные синие тени.

Отец выпрямился, оглядел оставшийся клин пшеницы и прикинул что-то на пальцах.

— Ещё с полсотни горстей, — сказал он. — И шабаш.

***

Крик прилетел из деревни, когда отец срезал двадцатую горсть.

Высокий, яростный, на одной ноте — так кричат на пожар или на вора. Серпы замерли по всему полю. Вальтер выпрямился во весь свой огромный рост и повернул голову к Эрленбаху, как бык на звук колокольца.

— Бригитта, — сказал он.

Ганс и Петер сорвались с места раньше, чем кто-либо успел их окликнуть. Две пары босых пяток замелькали по жнивью, взбивая пыль, — к ручью, к дощатым мосткам, к деревне.

— Эмма! — Мать вырвала у неё из рук серп. — За ними! Шеи свернут!

Эмма подхватила подол и побежала.

Ручей обмелел до нитки, и мостки гремели под ногами впустую, над одним сухим илом. За мостками улица шла в гору, между плетнями, мимо колодца под липой. Крик впереди то затихал, то взмывал снова, и к нему уже примешивались другие звуки: треск, гусиный гогот, восторженный визг Петера.

Огород кузнецов встретил её разгромом. Плетень со стороны проулка лежал плашмя, словно по нему прокатилась телега. Капустные кочаны, которые Бригитта растила с мая и поливала всё лето, таская воду от колодца, валялись по грядкам, выдранные с корнем, погрызенные, раздавленные. Бобовые жерди повалились друг на друга. Репа торчала из взрытой земли белыми боками.

А посреди этого побоища, невозмутимая, как аббатиса на молитве, стояла Графиня.

Свинью мельничихи знал весь Эрленбах. Огромная, розовато-серая, с одним чёрным ухом и маленькими умными глазками в складках жира, она расхаживала по деревне, словно по своей вотчине. Кунигунда кормила её варёной репой с мельничными отрубями, чесала ей за ухом гребнем и звала ласковыми словами, от которых соседки плевались. Сейчас Графиня неторопливо доедала кочан и, судя по всему, намеревалась взяться за следующий.

Бригитта колотила её метлой по спине. Свинья жевала.

— Вон! Вон, проклятая! Пошла вон!

Ганс подобрался к Графине сзади, пригнулся — и прыгнул, вцепившись обеими руками в хвост. Свинья обернулась. Хвост выскользнул. Графиня взвизгнула так, что у Эммы заложило уши, рванула с места и понеслась прямо через бобовые жерди. Жерди разлетелись. Ганс покатился по грядке. Младший завизжал от счастья.

Из соседнего двора, растопырив крылья и вытянув шеи, вылетели гуси. Шипя, как вода на раскалённой сковороде, они бросились за свиньёй, свинья — в проулок, мальчишки — за гусями. Бригитта с метлой замыкала шествие.

Наперерез, через двор кузнеца, мимо остывшей кузни, мимо поленницы, метнулась Эмма. Выскочила в проулок как раз в тот миг, когда Графиня с кочаном в зубах пронеслась мимо. Руки схватили воздух. Свинья вильнула к колодцу.

Сзади затопали тяжёлые шаги. Лукас, красный, запыхавшийся, прибежал с поля вслед за братьями и теперь нёсся по проулку, раскинув руки, как для объятий.

— Гони её к липе! — крикнул он. — К колоде!

У колодца стояла длинная долблёная колода для скотины, и вокруг неё даже в засуху держалась грязь: женщины то и дело выплёскивали туда остатки воды. Графиня, почуяв прохладу, свернула прямо в лужу. Лукас нырнул за ней, пролетел мимо и растянулся в пыли во весь рост. Следом прыгнула Эмма.

Пальцы сомкнулись на чёрном ухе. Свинья рванулась. Босые ноги поехали по грязи, мир опрокинулся, и Эмма шлёпнулась в лужу — спиной, со всего маху, так что брызги окатили колоду. Графиня протащила её ещё на локоть, возмущённо хрюкая, но Эмма держала ухо мёртвой хваткой. Тут сверху, как кот на мышь, на свиную спину обрушился Ганс. Петер вцепился в заднюю ногу. Свинья постояла, взвесила положение и уселась в грязь — прямо на Эммин подол, с кочаном в зубах.

Лукас поднялся из пыли, отряхнулся, глянул на лужу — и захохотал. Хохотал он до слёз, согнувшись пополам, упираясь ладонями в колени.

— Графиня тебя признала! — выдавил он наконец. — Теперь вы с ней родня!

Эмма зачерпнула свободной рукой пригоршню грязи и метнула. Грязь шлёпнула Лукаса точно по щеке. Он замер, вытер лицо, посмотрел на испачканную ладонь — и расхохотался ещё громче, и Эмма, сидя в луже, в обнимку со свиным ухом, засмеялась вместе с ним.

— Графинюшка!

По улице, от мельничного конца, бежала Кунигунда. Передник развевался, чепец съехал набок, пухлые руки тянулись к свинье, как к пропавшему дитяти.

— Красавица моя! Кто тебя обидел? Кто посмел?

— Я посмела! — Бригитта вылетела из проулка с метлой наперевес. — Твоя красавица мне всю зиму сожрала! Капусту, репу, бобы — всё под корень!

Кунигунда упёрла руки в бока.

— Плетень у вас гнилой, вот она и зашла. Она у меня умная, Графиня-то. Каждое слово понимает. Поумнее иных соседей.

— Это кого ты…

Слова застряли у Бригитты на полпути. К колодцу уже спешили с поля мужики: Вальтер впереди, с серпом в кулаке, за ним отец Эммы, староста Генрих, ещё трое. С другой стороны, по дороге, на сером муле неторопливо подъезжал Рупрехт.

— Серп-то положи, дурень, — прошипела мужу Бригитта.

Кузнец серп опустил, но пальцы на рукояти так и остались белыми. Он шагнул к мулу и встал у самой морды, широкий, как дверь амбара.

— Плати за огород, Рупрехт. Капуста, репа, бобы. Всё до листа.

Мельник оглядел кузнеца сверху, с седла, и заложил большие пальцы за пояс.

— Заплачу, Вальтер. Отчего же. — Голос его тёк ровно, мягко, как мука из-под жёрнова. — Завтра и сочтёмся. Я как раз завтра считаю.

Смысл дошёл до всех разом. Кто-то из мужиков крякнул. Вальтер побагровел до корней волос и шагнул вперёд, к самому стремени.

Между ними встал Конрад Хоффер. Ладонь его легла кузнецу на грудь — просто легла, без толчка.

— Погоди, Вальтер.

Рупрехт медленно перевёл взгляд на Эмминого отца. Улыбка на гладком лице сделалась шире.

— А ты чего встреваешь, Конрад? — спросил он ласково, на всю площадь. — Помни, чьим зерном весной сеял.

У отца покраснела шея. Краснота поднялась от ворота рубахи к ушам, к скулам, залила лицо тёмной волной. Рука медленно соскользнула с груди кузнеца и повисла. Губы отца сжались в одну черту. В толпе кто-то хмыкнул — и тут же осёкся.

Эмма так и сидела в луже, сжимая свиное ухо, и смотрела на отцовскую шею. Грязь стекала у неё по локтям.

— Хватит! — Староста Генрих протолкался в середину и раскинул руки, отодвигая одного и другого. — Хватит, соседи. Рупрехт, свинью под замок. Вальтер, огород оценим миром, после Богородицы, при свидетелях. А сейчас все по полосам. Хлеб в поле стоит.

Рупрехт коснулся шапки, будто прощаясь с добрыми друзьями, и развернул мула. Тем временем мельничиха накинула Графине на шею верёвку. Свинья поднялась с Эмминого подола, всё так же с кочаном в зубах, и величаво двинулась за хозяйкой. Возле кузнецова разорённого огорода она остановилась, посмотрела на Бригитту долгим взглядом маленьких умных глаз и хрюкнула.

— Видали? — Кунигунда торжествующе обернулась. — Всё понимает!

Лукас протянул Эмме руку и вытащил её из лужи.

На поле возвращались молча. Отец шёл впереди, большими тяжёлыми шагами, и мокрая рубаха облепила спину, прямую и жёсткую, как доска. Следом шагала Эмма, босая, в грязи от затылка до пят, и подол при каждом шаге хлопал её по ногам. Братья плелись позади, притихшие, как после порки.

Мать ждала у копен. Оглядела дочь с головы до ног.

— Это что на тебе?

— Графиня.

Уголок материнского рта дрогнул. На этом расспросы кончились. Отец подобрал серп и вошёл в оставшийся клин пшеницы.

Последнюю горсть он срезал молча, когда солнце коснулось леса. Срезал, выпрямился — и долго стоял над ней, сжимая серп так, что на запястье вздулись жилы. Опустил он его, только когда мать подошла и тронула его за локоть.

***

Вечер опускался на Эрленбах медленно, нехотя, как оседает пыль за проехавшей телегой. Солнце ушло за лес, и небо над ним долго тлело рыжим, будто угли под золой. Из дворов потянуло дымом и варевом. Стадо возвращалось с выпаса, коровы сами сворачивали каждая к своим воротам, и хозяйки встречали их у плетней, окликая по именам.

Мать оглядела Эмму ещё раз, уже при доме, и сунула ей в руки коромысло с вёдрами.

— К колодцу. И отмойся там у колоды, а то к ночи грязь коркой схватится.

У колодца под липой собиралась к вечеру половина деревни. Старую липу посадил, по преданию, прадед нынешнего старосты, и за сотню лет она раздалась так, что её тень накрывала и колодец, и длинную колоду, и вытоптанную площадку перед церковью. Под липой стояла скамья из цельного бревна, отполированная до блеска поколениями мужских штанов. Здесь по вечерам решались все дела Эрленбаха, от цены на рожь до того, чья коза объела чей плетень.

Сегодня у колодца собралась очередь. В сушь вода ушла глубоко, ворот скрипел долго, надсадно, и ведро поднималось из тёмной глубины целую вечность. Женщины ждали, опустив коромысла на землю, и языки их работали без устали.

Эмма пристроилась в хвост и сразу поймала на себе с десяток взглядов.

— Глядите-ка, героиня! — Жена бондаря, дородная Ирмгард, всплеснула руками. — Со свиньёй в обнимку, прямо в луже! Мне Бригитта рассказывала, я со смеху весь вечер икала.

— А Графиня её хоть целой отпустила?

— Графиня ей теперь родня, — хохотнула другая. — Сам Лукас кузнецов так сказал.

Смех покатился по очереди. Эмма опустила вёдра и молча принялась отскребать засохшую грязь с локтей. Щёки горели так, что хоть лучину от них зажигай.

Ведро наконец всплыло. Эмма выплеснула первую воду в колоду и принялась мыться: плескала на руки, на шею, на лицо, тёрла ладонями, и колодезный холод пробирал до костей. Грязь сходила бурыми разводами. Вокруг тем временем разговор свернул туда, куда сворачивал весь день.

— А Генрих-то, слыхали? С мельником пиво пил. Два кувшина.

— Сговорились, значит.

— Марту за Фрица. А что? Хлебный дом.

— Хлебный-то хлебный. Да Кунигунда свекровью — упаси Господь. Она ж невестку заставит Графине за ухом чесать.

Новый взрыв смеха. Сквозь него прорезался сухой, скрипучий голос:

— Смейтесь, смейтесь.

Бабка Гертруда, мать старосты, стояла у ворота, маленькая, согнутая почти пополам, с закатанными по локоть рукавами. Руки её, жилистые, коричневые, как корни, держали ведро крепче иных молодых.

— Смейтесь, пока сытые. А зимой к кому с пустым мешком пойдёте? — Бабка обвела очередь острыми глазками. — К мельнику. Все к нему ходили. И вы, и ваши матери. Которая из вас весной мимо мельницы с пустым мешком прошла — пускай первой кинет камень.

Смех оборвался. Женщины вдруг разом нашли себе занятие: одна поправляла платок, другая заглядывала в пустое ведро. Эмма склонилась над колодой ниже, и холодная вода побежала у неё по шее за ворот.

Под липой, на бревне, сидели мужики. Вальтер пришёл туда прямо от разорённого огорода и всё ещё отдувался, как кузнечный мех. Рядом с ним староста Генрих молча теребил бороду. Старый Курт устроился на самом краю, вытянув правую ногу, и растирал колено обеими ладонями. Лохматый пёс лежал у его ног, положив морду на лапы.

— В Юденбурге, сказывают, рожь опять вздорожала, — заметил кто-то.

— В сушь всегда дорожает.

— Колено ноет, — объявил Курт. — К дождю.

Мужики захохотали в голос.

— Третью неделю оно у тебя к дождю ноет, Курт!

— Скоро мы твоему колену свечку поставим, как святому.

— Смейтесь. — Курт невозмутимо продолжал растирать ногу. — Колено моё постарше всех вас, ему оттуда виднее.

Эмма наполнила оба ведра, подцепила их на коромысло и выпрямилась. Мимо скамьи дорога шла к дому. Кузнец увидел её, поднялся и загородил тропу своей широкой фигурой.

— Эмма. — Голос Вальтера, обычно громкий, на всю улицу, упал до хриплого шёпота. — Отцу передай… — Он помялся, потёр затылок огромной ладонью. — Зря он встрял. Из-за меня его при всех… Передай, что я его ладонь помню. Так и скажи.

Эмма кивнула. Кузнец посторонился, и она пошла по улице, придерживая вёдра ладонями, и вода только тихо колыхалась у краёв.

Ужинали при последнем свете из оконца. Репная похлёбка, хлеб, кислое молоко. Братья, перебивая друг друга, в пятый раз пересказывали погоню. С каждым разом Графиня становилась всё больше, гуси всё злее, а Ганс верхом на свинье всё отважнее. Мать слушала, подперев щёку ладонью. Отцовская ложка ходила от миски ко рту молча и мерно. Один раз, когда Петер показал, как Эмма шлёпнулась в лужу, у отца дёрнулся угол рта — и сразу замер.

Слова кузнеца Эмма передала в точности. Отец кивнул и снова уткнулся в миску.

Спать легли рано. Братья уснули сразу, едва упали на овчину, — наработались, набегались. Эмма долго лежала на своём тюфяке в углу, глядя в темноту, где чернели балки потолка. Сквозь оконце тянуло ночной прохладой, и за стеной завели свою бесконечную песню сверчки.

За плетёной перегородкой шептались.

— Сколько там у него зарублено?

— Шесть мер ржи. Да мера сверху, за ожидание.

— С новины отдадим четыре. Больше семье до весны самим… — Материн шёпот оборвался. — Остальное где взять?

Долгий отцовский вздох. Скрип досок под тяжёлым телом.

— Звёздку на Михайлов день сведём. В Юденбург, на торг.

— Эмма её выходила, Конрад.

— Знаю.

— С пальцев поила.

— Знаю, Агнес. — Кашель, глухой, в кулак. — А что ещё? Корову сводить? Тогда мальчишкам зимой молока… — Отец умолк. Потом зашептал снова, тише, горячее: — При всех, Агнес. При всей деревне. «Чьим зерном сеял». Будто я у него милостыню просил.

— Тише. Дети.

Эмма лежала, стиснув край дерюги. Пальцы сами нашли в щели между брёвнами тугой узелок из тряпицы. Два медных пфеннига. Она перебирала их сквозь ткань, одну монетку и другую, как чётки, — долго, и ткань успела согреться в ладони. Два пфеннига против тёлки. Против шести мер ржи.

Узелок вернулся в щель.

За перегородкой затихли. Прошло время — много, луна успела сдвинуться по оконцу на целую ладонь. Потом скрипнули доски, прошлёпали босые шаги, и дверь приоткрылась, впустив в дом полосу лунного света. Отец вышел во двор.

Приподнявшись на локте, Эмма разглядела в щель край двора, поленницу, чурбак для колки дров. Отец сидел на чурбаке, сгорбившись, в одной рубахе, и лунный свет лежал у него на плечах, как иней. Широкая ладонь медленно растирала грудь, круг за кругом. Потом он запрокинул голову и долго смотрел в небо, где высыпали густые, крупные августовские звёзды.

Кашель прилетел со двора, глухой, приглушённый — отец кашлял в рукав, берёг сон домашних. Эмма легла обратно и натянула на плечи дерюгу. Сверчки пели за стеной, отец кашлял во дворе, и так, под эти два звука, она в конце концов и уснула.

***

Утром поле за ручьём походило на стан кочевого войска. Копны стояли рядами, полоса за полосой, одна к другой, маленькие золотые шалаши в соломенных шапках, и от каждого на жнивьё ложилась короткая синяя тень. Возле копен, каждая семья у своих, стояли и сидели люди. Серпы висели на поясах и лежали в тени: жатва кончилась. Теперь хлеб ждал счёта.

Так повелось испокон веку. Сперва сборщик десятины обходит поле, считает копны и метит каждый десятый сноп, и лишь тогда хлеб едет с поля домой. Кто свезёт свои снопы раньше, заплатит вдвое, а то и втрое, монастырю и суду. В прежние годы считать приезжал монастырский брат Ансельм, рябой, подслеповатый и ленивый. Ансельм пересчитывал копны на глаз, десятину брал какую подвернётся и к обеду уже дремал в тени, накрыв лицо капюшоном. Всё поле он обходил до полудня, и к вечеру хлеб стоял под крышами.

Рупрехт приехал, когда солнце поднялось на три ладони над холмом.

Ехал он впереди, на своём сером муле, с ореховой счётной биркой за поясом и ножом на боку. За ним Фриц вёл под уздцы пару волов, запряжённых в высокую телегу. Мельников работник Йокль, долговязый, белобрысый, шагал позади с охапкой свежих ольховых веток на плече.

— Бог в помощь, соседи! — Рупрехт оглядел поле с высоты седла, как хозяин оглядывает своё стадо. — Начнём, благословясь.

Начал он со старосты.

Полоса Генриха лежала у самого ручья, самая широкая и самая ровная на всём нижнем поле. Рупрехт спешился, прошёлся вдоль копен, похлопывая их по бокам, будто сытых коней, и считал вслух, нараспев:

— Одна… Две… Три… Двадцать две копны, Генрих! Благословил тебя Господь.

Двадцатую копну он миновал на ходу — махнул рукой и сделал зарубку. Десятинные снопы выдёргивал наугад, какие ближе. Йокль втыкал в каждый ольховую ветку, и зелёные метки одна за другой вспыхивали над золотыми копнами. На всё про всё ушло времени меньше, чем на хорошую молитву. Рупрехт хлопнул старосту по плечу и засмеялся. В ответ староста улыбнулся одними губами.

Марта стояла возле копен рядом с бабкой Гертрудой, прямая и неподвижная, как жердь в плетне. На Фрица она смотрела так, как смотрят на дождь в день сенокоса. Фриц краснел до кончиков оттопыренных ушей и старательно разглядывал воловьи рога.

Потом Рупрехт отправился к бондарю, к своему свояку Экхарту, к двоюродному брату жены — и там дело тоже спорилось, со смешками, с шутками, с хлопками по спинам. А потом мельник вскочил на мула, развернул его и поехал на верхнее поле, за дорогу, в другую сторону от Хофферов.

Отец проводил его долгим взглядом.

— Далеко пошёл, — сказал Вальтер со своей полосы и сплюнул. — Нарочно. Чтобы мы тут на жаре потомились.

— Может, так ему сподручнее, — ответил отец.

Вальтер фыркнул и тяжело опустился на сноп.

Время тянулось медленно, как смола по коре. Солнце взбиралось всё выше, и жар густел с каждым часом. Мухи вились над потными спинами. Мальчишки кузнеца затеяли драку, получили по подзатыльнику и надулись. Вдова Димут сидела в тени своей копны, держа на коленях спящую Анни, и отгоняла мух веткой. Михель с Леной строили из соломы домик. Штопку

достала из кошеля и мать Эммы — всё той же кузнецовой иглой. Отец стоял у крайней копны, опершись на вилы, неподвижный, как межевой столб, и смотрел в сторону верхнего поля. С самого вчерашнего вечера он едва проронил дюжину слов.

Эмма сидела на жнивье, обхватив колени, и смотрела на отца. Потом на мать. Потом снова на отца.

С верхнего поля ветер доносил голос мельника. Там дело шло иначе. Рупрехт подолгу стоял у каждой копны, пересчитывал снопы по два раза, по три, тыкал пальцем, спорил. Раз его голос взлетел так, что услышали и на нижнем поле:

— Это разве сноп? Веник! Такой только печь мести. Клади другой!

— Батюшки, у Бертольда копну разворошил, — ахнула Бригитта, приставив ладонь козырьком ко лбу. — До серёдки добрался. Самый толстый сноп из серёдки тянет.

— Он и у нас так потянет, — буркнул кузнец. — Из каждой копны. Вот увидишь.

К полудню Рупрехт вернулся на нижнее поле, но и тогда к Хофферам путь его лежал через три чужих полосы. Теперь Эмма разглядела его работу вблизи. Мельник обходил копну медленно, словно покупатель на торгу, приглядывался, щупал колосья. Потом запускал руку в самую середину, выдёргивал сноп, взвешивал его на ладонях — и либо откладывал к десятине, либо швырял обратно:

— Лёгкий. Другой давай.

Копна после него разваливалась, и хозяину приходилось собирать её заново, под взглядами соседей. Каждую зарубку на бирке мельник резал неторопливо, со вкусом, прикусив кончик языка. У одной копны он насчитал девять снопов вместо десяти, и потребовал десятину как с полной.

— Мера — дело Божье, — сказал он кротко. — Моё дело считать.

Йокль молча втыкал ольховые ветки. Следом за ним с волами шёл Фриц, и уши его пылали уже малиновым. Раз, когда мельник разворошил очередную копну, Фриц задержался, нагнулся и помог хозяину поднять пару снопов. Рупрехт обернулся, и сын тут же выпрямился и отошёл к волам.

— А у Фрица-то совесть водится, — шепнула мать Эмме, уткнувшись в штопку.

Эмма повернулась к ручью. Над дальним хребтом, на юго-западе, там, где небо сходилось с зубчатой кромкой гор, поднимались облака. Белые, пухлые, высокие, они громоздились одно на другое, как пена в подойнике, и солнце слепило на их круглых боках. Вальтер тоже их заметил, прищурился и махнул рукой.

— Мимо пройдут. Всё лето мимо проходят.

Отец промолчал. Долго глядел на облака, потом на мельника, до которого оставалось ещё три полосы. Потом снова на облака.

Мать отложила штопку.

— Эмма. До нас он ещё нескоро дойдёт. Сходи-ка за травами к завтрашнему. К Богородице. Девять трав, как бабка Гертруда учила, и коровяк в серёдку.

— А счёт?

— Отец постоит. — Мать глянула на отца, потом на облака над хребтом, и голос её сделался мягче. — Иди. Пока жара.

***

Бабка Гертруда отпустила с ней и Марту.

— Ступайте обе. — Старуха ткнула во внучку узловатым пальцем. — Девять трав. Каждую рвать с «Богородице Дево». Коровяк выбирать самый высокий, чтобы стоял в серёдке свечой. Крестовник в букет пустите — голову оторву.

Девушки взяли по корзинке и двинулись вдоль межи, прочь от копен, от мельника с его биркой, от тяжёлого отцовского молчания. Кузнечики брызгали из-под ног во все стороны, как искры из-под молота. Над сухой травой порхали белянки. Жнивьё кончилось, началась межа, заросшая бурьяном по пояс, а за ней пологий выгон спускался к ручью, туда, где стояли ольхи.

Ольхи дали деревне имя. Сколько Эмма себя помнила, они росли вдоль ручья тесной тёмной стеной, по колено в воде, и корни их полоскались в струях, как пальцы прачек. Теперь листья на ольхах пожухли и покрылись пылью, а ручей обмелел до нитки. Вода едва сочилась между корнями, по краям трескался серый ил, и от русла тянуло запахом тины и нагретой гнили.

Первым попался тысячелистник: белые плоские зонтики на жёстких стеблях, россыпью по всему выгону. Эмма сорвала три стебля, шепнула «Богородице Дево, радуйся» и растёрла листок между пальцами. Горький, чистый запах ударил в нос. Марта тем временем уже набрала пижмы — жёлтых пуговок на длинных ножках. От пижмы на пальцах оставалась липкая пыльца, и пахла она резко, как лекарство в монастырской аптеке.

Зверобой нашёлся у самой межи. Марта сорвала цветок, раздавила его в щепоти, и между пальцами выступил тёмно-красный сок.

— Кровь Иоанна Крестителя, — сказала она бабкиным голосом, сурово поджав губы. — Кто зверобой в букет кладёт, у того нечисть из дому бежит.

— Это бабка твоя так говорит.

— Бабка много чего говорит. — Марта вытерла пальцы о передник, и на холсте остались бурые пятна. — Вчера вон говорила, что я от Фрица морду ворочу по молодости. А к Пасхе, мол, сама ему в ноги кланяться стану.

Полынь росла на пригорке, серебристо-серая, в пыльных кустах. Эмма рвала её, и горечь въедалась в кожу так, что облизнуть палец — весь рот сводило. Ромашка белела по краю выгона, душица розовела на солнцепёке и пахла мёдом. Мяту девушки нашли у самой воды, в тени ольх, где ещё держалась сырость. Эмма присела, разгребла сухие листья, и холодный мятный дух поднялся от земли, словно из погреба.

У ручья Марта вдруг села на корень ольхи, уронила корзинку и расплакалась.

Плакала она некрасиво, по-детски: всхлипывая, с распухшим носом, размазывая слёзы кулаками. Эмма опустилась рядом. Намочила в ручье край своего платка, отжала и принялась вытирать подруге лицо — щёки, лоб, опухшие веки, как вытирала братьям после драки.

— Я вчера говорила с ним, — выдавила Марта сквозь всхлипы. — С отцом. Как ты велела. Сама.

— И что?

— Кулаком по столу. Кружка подпрыгнула. «Рупрехт мне с малых лет друг. У Рупрехта в доме хлеб круглый год. Стерпится — слюбится». — Марта шмыгнула носом. — Слюбится! С Фрицем! Он ложку до рта несёт — полкаши на рубахе…

Эмма молча гладила её по спине. Утешать словами она умела плохо. Ладонь ходила по Мартиным лопаткам вверх и вниз, медленно и мерно, как корова вылизывает телёнка. Мало-помалу всхлипы стали реже, дыхание выровнялось.

— Сегодня он соседу снопы поднимал, — сказала Эмма. — Фриц. Рупрехт отвернулся, а он нагнулся и поднял. Мать видела.

Марта подняла голову.

— Правда?

— Правда. Мать сказала: совесть у него водится.

Марта долго молчала, глядя на тонкую струйку воды между корнями. Потом вздохнула так глубоко, словно выдохнула из себя всю ночь.

— Совесть-то, может, и водится. А уши те же.

И засмеялась — сначала сквозь слёзы, потом по-настоящему, откинувшись спиной на ольховый ствол. Следом прыснула и Эмма.

Отсмеявшись, Марта хитро прищурилась.

— А Лукас-то вчера весь вечер у кузни проторчал. С твоей грязью на щеке. Так и ходил до темноты, будто ладанку святую носил.

Щёки у Эммы вспыхнули. Она сорвала ромашку и швырнула Марте в лицо.

— Поленился умыться, вот и ходил.

— Ага. Поленился. — Марта подобрала ромашку, покрутила в пальцах. — Лукас, между прочим, первый работник на всю деревню. Кузню от отца примет. Двор у них крепкий.

— Марта.

— А что — Марта? Тебе девятнадцать, подруженька. Меня уже сватают, а тебя когда? — Марта перевернулась на живот, подперла подбородок кулаками. — Ну, скажи. Как ты жить хочешь? Вот по-настоящему?

Эмма обхватила колени и задумалась, глядя на тот берег, где за выгоном начинались крайние дворы.

— Дом хочу, — сказала она наконец. — На нижнем конце, у ручья. Чтобы оконце на воду смотрело. Корову. Огород с крепким плетнём — от Графини. — Марта прыснула. — Детей. Мать через два двора, отец на соседнем чурбаке кашляет. Мальчишки забегают. Ты с Фрицевыми ушами в гости ходишь.

— Эмма!

— Вот и всё. — Эмма пожала плечами. — Мне хватит.

Марта смотрела на неё долго, прикусив травинку. Потом покачала головой.

— Счастливая ты. Тебе всего хватает.

На обратном пути, по самой кромке ручья, в зарослях у воды, нашёлся девясил — высокий, с крупными жёлтыми цветами, похожими на лохматые солнца.

— Девясил, — просияла Марта. — В нём девять сил, бабка говорит. Девятая трава!

Эмма потянулась к соседнему кусту, тоже жёлтому, мелкоцветному, — и Марта шлёпнула её по руке.

— Стой! Это ж крестовник. Глянь, листья какие резные. Бабка голову оторвёт.

Эмма посмотрела на резные листья, потом на подругу, и отдёрнула ладонь. Победно задрав нос, Марта сунула девясил в корзинку.

Коровяк они выбирали долго, придирчиво, как невесту для княжича. Нашли наконец на сухом пригорке — выше Марты ростом, с толстым мохнатым стеблем и жёлтым цветочным колосом, который светился на солнце, словно зажжённая свеча. Эмма срезала его ножом у самой земли. Потом девушки сели в траву и принялись вязать букеты: коровяк в середину, вокруг тысячелистник, пижма, зверобой, полынь, ромашка, душица, мята, девясил. Каждую траву — с молитвой. Букеты стягивали тонкими стеблями вьюнка. Марта между делом сплела из оставшихся ромашек венок, примерила, посмотрела на своё отражение в заводи под ольхой — и разорвала венок пополам.

— Бабка говорит, — сказала она, — освящённые травы в очаг бросают, когда гроза идёт. От молнии.

Эмма подняла голову.

Облака над хребтом за это время выросли вдвое. Они стояли теперь над горами, как белые башни, одна выше другой, но брюхо у них потемнело и налилось сизым свинцом. По выгону пробежал первый порыв ветра, горячий и сухой. Он поднял с дороги пыль, прошёлся по ольхам, и листья разом вывернулись светлой изнанкой. Тысячелистник в корзинке закачал белыми зонтиками.

— Освятят их только завтра, — сказала Эмма.

Марта посмотрела на облака, потом на свой букет. Прижала его к груди обеими руками, и дальше девушки пошли быстрее.

***

К полю девушки вернулись, когда свет уже переменился.

Солнце ещё висело над лесом, но облачные башни подползли к нему вплотную, и лучи пробивались сквозь их кромку косо, мутно, окрашивая жнивьё в густой медно-жёлтый цвет. В таком свете всё вокруг проступало резче: каждая копна, каждое лицо, каждая соломинка. Ветер то стихал совсем, то налетал порывом, горячим и пыльным, и тогда соломенные шапки на копнах начинали шевелиться, будто живые. Дым над Эрленбахом стелился по крышам, припадал к земле.

Марта убежала к своим. Корзинку с букетом Эмма поставила в тень отцовской копны и огляделась.

Мельник успел пересчитать едва ли половину нижнего поля. Полосы Хофферов, кузнеца, вдовы Димут и ещё трёх семей стояли нетронутыми, без единой ольховой ветки. А сам Рупрехт сидел в тени своей телеги на перевёрнутом снопе и обедал.

Обедал он основательно, как обедают в праздник. Разложил на холстинке каравай пшеничного хлеба, круг копчёной колбасы, головку сыра, пучок зелёного лука. Колбасу резал ножом тонкими кругляшами, каждый кругляш клал на хлеб, посыпал солью и отправлял в рот, а потом долго, со вкусом жевал, глядя куда-то поверх копен. Рядом Фриц уткнулся в свою краюху и жевал, уставившись в колени. Йокль сидел поодаль на корточках и косился на небо.

С выгона донёсся лай, и на край поля выкатилось стадо. Курт гнал его домой задолго до срока. Коровы мычали, мотали рогами, овцы сбивались в кучу и шарахались от каждого порыва ветра. Старик ковылял позади, припадая на правую ногу, опираясь на посох, и лицо у него сияло.

— Ну?! — крикнул он через всё поле. — Кто тут собирался моему колену свечку ставить? Ставьте! Две ставьте!

Взгляды со всех полос тянулись на юго-запад, и старика едва кто услышал.

Над хребтом облака срослись в одну сплошную стену. Сверху она ещё отсвечивала белым, но ниже темнела, лиловела, наливалась тяжёлой сизой чернотой, и край её тянулся по небу к Эрленбаху, съедая голубое. Под стеной, над дальними горами, висела серая бахрома — там уже шёл дождь. Или град.

Вальтер поднялся со снопа, упёр кулаки в бока и зычно, на всё поле, позвал:

— Рупрехт! Туча идёт!

Мельник поднял голову, прищурился на небо, отрезал себе ещё кругляш колбасы.

— Вижу, Вальтер. Глаза-то при мне.

— Так считай, пёсья кровь!

— Божье дело чинности требует. — Рупрехт положил колбасу на хлеб, посолил. — Поспешишь — Бога насмешишь. Обсчитаюсь ещё, а грех на мне.

Кузнец побагровел, сорвал с головы шапку и шваркнул её оземь. Потом решительно зашагал к своим копнам, ухватил первый сноп под мышку, второй.

— Везём! Лукас, гони телегу! Пусть он подавится своей десятиной!

Отец Эммы оказался рядом раньше, чем Лукас успел сделать шаг. Схватил кузнеца за локоть.

— Стой. Вальтер, стой.

— Пусти!

— Двойную возьмут. — Отец говорил тихо, ровно, но пальцы его на кузнецовом локте побелели. — С тебя и с меня. Монастырю и суду. Рупрехт при свидетелях скажет, что ты хлеб без счёта увёз. Чем платить станешь? Кузней?

Вальтер рванул руку, раз и другой. Отцовские пальцы держали крепко.

— А ежели сгниёт? — Кузнец ткнул снопом в сторону тучи. — Ежели град? Чем тогда платить, Конрад? Чем детей кормить?

Отец промолчал. Отпустил его локоть. Кузнец постоял, тяжело дыша, потом медленно, словно против воли, положил снопы обратно к копне.

Мать подошла к отцу сзади и тронула его за рукав.

— Конрад.

Он обернулся.

— Лучше штраф, чем гнилое зерно, — сказала она тихо. Так тихо, что Эмма едва расслышала, а она стояла в двух шагах. — Штраф отработаем. А гнилое зерно весной в землю кидать — только землю поганить.

— Закон, Агнес.

— Закон сытым писан.

Отец посмотрел на жену так, словно увидел её впервые. Взгляд этот мать выдержала, плотно сжав губы. Между ними, с пустыми руками, стояла Эмма и переводила глаза с одного на другую. Сколько она себя помнила, родители спорили только за перегородкой, шёпотом, ночью. При детях — никогда. Ганс и Петер притихли у копны и смотрели во все глаза.

Через поле, от своей полосы, широким шагом шёл староста Генрих. Прошёл мимо Хофферов, мимо кузнеца, остановился перед телегой мельника.

— Рупрехт. — Голос у старосты сел, и он откашлялся. — Рупрехт, по-соседски прошу. Поспеши. Люди без хлеба останутся.

Мельник отложил нож, отряхнул крошки с колен и посмотрел на Генриха снизу вверх, ласково, по-свойски.

— Твоё, Генрих, в целости. Сосчитано. Двадцать две копны, чистый хлеб, сам видел. — Он улыбнулся. — Моё слово твёрдое. Какое тебе дело до чужих?

Староста постоял. Медленно обернулся, окинул взглядом своё поле, где над копнами торчали зелёные ольховые метки. Потом полосу вдовы Димут, где Михель с Леной жались к матери, а Анни хныкала у неё на руках. Потом отыскал глазами дочь: Марта стояла рядом с бабкой и смотрела прямо на него. Эмма видела его лицо сбоку: как ходят желваки под бородой, как сходятся к переносице густые брови.

С хребта прикатился первый гром.

Далёкий, глухой, долгий, он перевалился через горы, как пустая бочка по дощатому настилу, и ушёл в землю. Коровы в стаде Курта разом задрали головы. Вдовья Анни зашлась плачем. Кто-то на верхнем поле громко, торопливо перекрестился и забормотал молитву святой Варваре.

Рупрехт поднял глаза к небу, дожевал хлеб и потянулся к кувшину.

Староста развернулся к полю. Взгляд его прошёлся по людям, по лицам, по головам — и остановился на Эмме.

***

— Эмма! — Староста шагнул к ней. — Ты ближе всех. Беги к отцу Ульриху. Скажи: староста зовёт на поле, хлеб гибнет. Десятина Божья — пусть Божий человек и решает.

Рупрехт поднялся со снопа, стряхнул крошки.

— Это ты что задумал, Генрих?

Староста смотрел на одну Эмму.

— Беги, девка!

Эмма побежала.

Жнивьё кололо босые пятки, копны мелькали по сторонам, как столбы изгороди. Ветер бил навстречу, горячий, плотный, забивал рот пылью и трепал платок. За спиной кто-то крикнул ей вслед — отец или мать, слова сорвало ветром. Мостки через ручей загремели под ногами, раз-два-три, и вот уже улица полезла в гору, между плетнями, мимо пустых дворов.

Деревня стояла брошенной: все, кто мог держать серп, ушли в поле. Ветер хозяйничал в Эрленбахе один. Хлопала где-то незапертая калитка, раз за разом, как пьяный кулак в дверь. Сорванная с плетня рубаха катилась по дороге, раскинув рукава. Куры метались по дворам и лезли под крылечки. Из-под чьих-то ворот заходился лаем цепной пёс. Над самой улицей завертелся пыльный столб с соломой и сухими листьями, прошёл сквозь Эмму, хлестнул по лицу и рассыпался.

А потом свет погас.

Туча накрыла солнце разом, будто на лампу набросили горшок. Мир сделался серым, плоским, без теней. Соломенные крыши потемнели. Беленая колокольня впереди, над липой, одна светилась в этом сумраке, бледная, как свеча.

В боку закололо. Сперва слегка, потом так, что Эмма согнулась и прижала к рёбрам ладонь. Дыхание рвалось из груди с хрипом. Она перешла на шаг, три шага, пять — и снова побежала, придерживая бок. На повороте у кузнецова двора, там, где вчера Графиня повалила плетень, Эмма срезала угол. Подол зацепился за торчащий кол, дёрнул её назад, и холст с треском разошёлся от колена до щиколотки.

Сзади, догоняя, зашлёпали босые пятки. Ганс. Разумеется, Ганс.

— Я с тобой! — выдохнул он, поравнявшись. Лицо у брата горело восторгом.

Дом отца Ульриха стоял рядом с церковью, за низким каменным забором, и к дому примыкал сад: две старые яблони, грядки с луком, а вдоль южной стены — пять пчелиных колод на подставках. Сам священник возился возле колод. Старый, грузный, с белым пухом волос вокруг лысой макушки, в подоткнутой рясе, он набрасывал на колоды мешковину и придавливал её сверху поленьями от ветра. Пчёлы ползали по летку густой встревоженной кучей.

— Отец Ульрих! — Эмма ухватилась за калитку, чтобы устоять. Слова лезли наружу вперемешку с дыханием. — Староста… зовёт… на поле… Мельник… десятину считает… до нас… далеко ещё… а туча…

Священник выпрямился, опустил полено. Глянул на Эмму, на её разорванный подол, потом на небо над колокольней, где сизая стена уже нависала над самой липой.

— Рупрехт, значит, — сказал он медленно. — Обедает, небось.

— Колбасу режет, — выпалил Ганс.

Отец Ульрих хмыкнул. Одним движением выдернул подоткнутый край рясы из-за пояса, отряхнул руки. Потом повернулся к Гансу и нацелил на него толстый палец.

— Ты. Хофферов малый. Знаешь, где верёвка от колокола?

У Ганса отвисла челюсть. Детей от колокольни гоняли прочь, и за один-единственный удар в колокол без спросу пономарь драл уши до самой шеи.

— Знаю, отче…

— На колокольню. Бей во всю мочь, пока туча над деревней. От града. — Священник махнул рукой. — Ну! Живо!

Ганс исчез, как ветром сдуло.

Священник вышел за калитку и тяжело опёрся ладонью Эмме на плечо. Ладонь оказалась горячей, влажной и неожиданно тяжёлой.

— Веди, дочка. Только тише ты, тише. Мне шестьдесят лет, мои ноги своё отбегали.

Они двинулись вниз по улице. Священник ступал грузно, припадая на левую ногу, и дышал со свистом. Эмма подставляла плечо и тянула его вперёд, насколько хватало сил.

За спиной ударил колокол.

Первый удар вышел робким, кривым, словно колокол спросонья поперхнулся. Второй лёг твёрже. А третий раскатился над Эрленбахом во всю медную силу, ударился о крыши, скатился по улице, выплеснулся за ручей, на поля. Четвёртый. Пятый. Ганс нашёл ритм и бил теперь ровно, мерно, упрямо, как бьёт кузнечный молот, — и звон шёл навстречу туче, словно маленький, отчаянный человек, выставивший перед грозой кулак.

— Молодец, — пропыхтел отец Ульрих. — Молодец малый. Голова у него дурная, а рука крепкая.

На мостках священник поскользнулся на иле, и Эмма едва успела ухватить его за локоть обеими руками. Постояли. Отдышались. Поплелись дальше.

Первые капли упали, когда они выбрались на жнивьё. Крупные, тяжёлые, редкие, они шлёпались в дорожную пыль и оставляли в ней тёмные круглые ямки, будто от брошенных камешков. Одна капля угодила Эмме прямо в щёку, тёплая, как слеза. Запахло мокрой пылью — густо, остро, до головокружения.

На поле их увидели издалека. Люди бросали копны и сходились навстречу, со всех полос. Кто-то снял шапку. Вдова Димут перекрестилась. Рупрехт стоял возле своей телеги, скрестив руки на груди, как вкопанный.

Посреди жнивья священник остановился, выпустил Эммино плечо и выпрямился во весь свой невеликий рост. Ряса хлопала на ветру, белый пух на голове растрепался. Он поднял руку.

— Слушайте все!

Голос у старика оказался могучий, привычный перекрывать и церковный хор, и базарную толкотню. Колокол за ручьём бил ему в лад.

— Десятина — Божья! Бог тучу послал, Бог и счёт примет. Каждая семья считает свои копны сама. Каждый десятый сноп — поперёк копны, колосьями к лесу. Я свидетель перед Господом. Кто обсчитает Бога — тому и ответ держать, на этом свете и на том. Считайте — и везите!

Рупрехт шагнул от телеги.

— Отче! Откуп мой! Я монастырю серебром платил, полновесным!

— Знаю, сын мой. — Отец Ульрих повернулся к нему всем своим грузным телом. — Десятина Божья, Рупрехт. Твоё в ней — один откуп. Хочешь — становись рядом и считай вместе со всеми. Только живо.

— Монастырь про это узнает!

— Узнает, — кивнул священник. — От меня первого. Я и про колбасу твою расскажу.

Мельник открыл рот. Огляделся. Со всех полос на него смотрели — молча, в упор, десятки глаз, мокрых от первых капель. Рупрехт закрыл рот.

Небо над полем треснуло пополам: молния ударила где-то за лесом, белая, ветвистая, как корень. Гром грянул следом без промедления, раскатился от края до края.

— Лукас! — взревел Вальтер. — Телегу!

***

Поле взорвалось движением.

Люди бросились к своим копнам, как бросаются к горящему дому. Отовсюду неслось:

— Одна! Две! Три!..

— Десятый — поперёк! Колосьями к лесу!

— Громче считай, Бертольд, отец Ульрих слышит!

Священник стоял посреди жнивья, под крупными редкими каплями, с поднятой рукой, и медленно поворачивался из стороны в сторону, будто благословлял всё поле разом.

Хофферы считали хором. Отец выкрикивал копну, мать выдёргивала из неё десятый сноп и укладывала поперёк, на самую шапку, колосьями к лесу. Остальные снопы подхватывали Эмма с Петером. Верёвки, по две на каждого, мать захватила из дому ещё утром, словно чуяла. Четыре снопа крест-накрест, петлю через грудь — и бегом через жнивьё к мосткам, к деревне, к своей риге. Снопы давили на плечи, солома лезла за ворот, остья царапали шею. Петер тащил два снопа и пыхтел, как маленький кузнечный мех.

Тем временем Лукас пригнал телегу с кузнецовым мерином, и Вальтер, встав у борта, заорал на всё поле:

— Вдовьи первыми! У неё одни малые!

Снопы Димут полетели в телегу. Вальтер швырял их по два, по три, Лукас укладывал, Михель с Леной подтаскивали, путаясь под ногами. Сама вдова стояла рядом, прижимая к себе Анни, и губы её беззвучно шевелились.

У телеги мельника Рупрехт кричал на Йокля:

— Поперечные собирай! Мои! Живо, пока сухие!

Йокль постоял с охапкой ольховых веток в руках. Посмотрел на хозяина. Потом на вдовью полосу, где семилетняя Лена волокла к телеге сноп больше себя самой. Потом снова на хозяина. Разжал руки. Ветки упали в стерню, а долговязый работник развернулся и зашагал к Димутиной полосе.

— Йокль! — Голос у Рупрехта сорвался на визг. — Назад! Расчёт получишь!

— Получу, хозяин, — бросил Йокль через плечо. — После дождя.

Он подхватил Лену вместе с её снопом и закинул обоих в телегу. Лена завизжала от восторга.

Фриц остался при волах. Уши его пылали так, что дождевым каплям впору шипеть на них. Рупрехт рявкнул на сына, и Фриц принялся стаскивать с чужих копен поперечные снопы и кидать в мельничью телегу, один за другим, втянув голову в плечи.

Ударило, когда Эмма бежала к мосткам с третьей вязанкой.

Сначала пришёл ветер. Стена ветра, плотная, как вода в запруде, ударила в спину, толкнула вперёд, сорвала с головы платок и унесла его куда-то в серую муть. Следом ударил дождь. Мир пропал. Мостки впереди, ольхи, деревня за ручьём — всё смыло, стёрло, осталась одна белёсая ревущая пелена и потоки воды за шиворотом. Эмма пригнула голову и шла вслепую, по памяти, нащупывая босыми ногами доски мостков.

А потом по плечам застучало.

Град. Мелкий поначалу, с горошину, он запрыгал по доскам, по снопам, по голове, звонко, больно, как брошенная горсть камешков. Потом крупнее. Градины хлестали по рукам и оставляли красные метки. Сзади донёсся тонкий плач. Обернувшись, Эмма увидела Петера: он стоял посреди мостков с поднятыми над головой снопами и ревел во весь голос. Одним рывком она стащила брата с мостков под ольхи, толкнула к самому стволу и накрыла собой вместе со снопами. Сверху по ветвям колотило, как цепами по току. Петер уткнулся ей в живот и всхлипывал. Прижимая его голову ладонью, Эмма считала удары сердца. Двадцать. Тридцать. Сорок.

С колокольни всё бил и бил колокол — Ганс держался.

Град кончился так же внезапно, как начался. Остался один дождь, ровный, густой, тёплый, отвесный, словно кто-то наверху перевернул бездонную бочку. Эмма вылезла из-под ольхи, вытащила Петера и огляделась. Жнивьё за ручьём побелело, усыпанное градинами, как солью. Копны стояли, мокрые, осевшие, но целые. Градины таяли на глазах.

— Бегом, — сказала она брату. — Бегом, пока в колосьях вода.

Дальше Эмма помнила всё урывками. Мокрые снопы, тяжёлые, как камни. Скользкие мостки. Грязь по щиколотку на улице, и по колеям, пенясь, бегут ручьи. Отец с мокрой бородой, с вязанкой на каждом плече. Юбка матери, подоткнутая выше колен. Телега старосты на

хофферовской полосе — Генрих, свезя своё, пригнал её на нижнее поле и сам кидал их снопы, и Марта кидала рядом с ним, мокрая до нитки, с прилипшими к лицу волосами. Кузнец с Йоклем на вдовьей полосе, рядом, — плечом к плечу. Курт у загона, вопящий на овец. Молния над лесом, одна, другая, и каждый раз мир на миг становился белым и плоским, как выбеленная стена.

Раз, пробегая по полю за очередной вязанкой, Эмма увидела старосту возле мельничьей телеги. Генрих стоял перед Рупрехтом, мокрый, без шапки, и говорил что-то коротко, в три-четыре слова. Мельник протянул ему руку — ладонью вверх, как протягивают на рукобитье. Староста посмотрел на эту руку. Потом повернулся к ней спиной и пошёл прочь, к своей телеге. Рупрехт так и остался стоять с протянутой ладонью, и дождь наливал в неё воду.

Слова унёс дождь. Зато Марта, когда они столкнулись в воротах риги, сияла сквозь мокрые волосы так, словно проглотила солнце.

Последние снопы Хофферов легли в ригу, когда туча уже уползала за Эрленбах, волоча за собой по лесу серый хвост дождя. Отец втащил последнюю вязанку, бросил её на кучу и выпрямился. Постоял. Потом сел прямо на мокрый земляной пол, привалился спиной к стене и закрыл глаза.

Под навесом риги набилось народу, как на ярмарке. Свои, кузнецовы, вдова с детьми, Йокль, Марта, прибежавший откуда-то Курт со своим псом, от которого валил пар. Все мокрые, все в грязи, в соломе, в прилипших колосьях. Мерин кузнеца стоял у ворот, понурив голову, и тоже дымился на всю ригу. С крыши лило ручьями, и в лужах у порога лопались пузыри.

Вальтер шагнул к отцу, сгрёб его с пола за плечи, поставил на ноги и обнял так, что у Конрада хрустнули кости.

— Закон, говоришь? — рыкнул кузнец ему в ухо. — Закон, а?

И захохотал. И отец захохотал вместе с ним, впервые за два дня, запрокинув голову, с дождевой водой в бороде. Следом засмеялась мать, потом вдова Димут, потом все разом. Хохотали до слёз, до икоты, привалившись к мокрым стенам, — над градом, над Графиней, над колбасой мельника, над всем сразу.

В ворота ввалился Ганс — мокрый, как выловленный из пруда котёнок, с красными, стёртыми до волдырей ладонями.

— Я до конца бил! — объявил он с порога. — До самого конца! Пока град! Отец Ульрих сказал, я молодец!

— Молодец, — сказала мать и притянула его к себе, прямо в мокрый подол.

Эмма вышла из-под навеса на самый порог, туда, где с крыши лило стеной. Руки ныли от тяжести, плечи горели там, где врезались верёвки, ступни саднило от стерни. Она запрокинула лицо к небу. Вода побежала по лбу, по щекам, по шее, смыла пыль, пот, солому. Эмма открыла рот и пила дождь — тёплый, пахнущий небом и соломой, — пила и в конце концов закашлялась от смеха.

За спиной, под навесом, гомонили, смеялись, спорили, кто сколько снопов унёс. Петер пытался рассказать Анни про град, и Анни серьёзно кивала. Отцовский кашель мешался со смехом. Курт требовал для своего колена двух свечей, а лучше трёх.

А внизу, за огородами, за мостками, впервые за три недели подал голос ручей. Сперва тихо, робко, словно пробовал горло. Потом громче. Вода шла с гор, мутная, быстрая, и ольхи на берегу полоскали в ней пыльные листья.

***

К вечеру гости разошлись по домам, накрыв головы мокрыми мешками, а дождь так и остался. Ровный, спокойный, без грома и ветра, он шуршал по соломенной крыше риги, словно кто-то наверху без конца пересыпал зерно из ладони в ладонь.

Снопы лежали грудой, как их побросали впопыхах, и от груды тянуло сыростью. Мокрый хлеб в куче за ночь согреется изнутри, а к утру начнёт преть. Отец снял с гвоздя фонарь с роговыми оконцами, запалил в нём сальную свечу и повесил фонарь повыше, у самых ворот, подальше от соломы.

— Святой Флориан, побереги, — пробормотал он, глядя на огонёк, и перекрестился.

Работали вдвоём. Отец развязывал снопы, встряхивал и раскладывал по току рыхлыми рядами, колосьями в одну сторону. Следом шла Эмма и ворошила, раздвигала стебли, чтобы между ними ходил воздух. Мокрая солома липла к пальцам и пахла прелью и полем. Колосья свешивались, набрякшие водой. Где-то в углу, под старыми граблями, шуршала мышь — тоже, видно, пряталась от дождя.

Долго молчали. Молчать с отцом Эмма умела с малых лет, и молчание это грело, как овчина, в которую заворачиваешься вдвоём.

Наконец отец разогнулся, упёр кулаки в поясницу и хрустнул спиной.

— Добежала, значит.

— Добежала.

— И попа привела. — Отец покачал головой, и в бороде у него дрогнула усмешка. — Шестьдесят лет старику, а голосище — что у глашатая на торгу.

— Он сказал, что про колбасу монастырю расскажет.

Отец фыркнул. Потом ещё раз. А потом засмеялся — тихо, в бороду, трясясь всем телом и прикрыв глаза ладонью.

— Про колбасу… — выдавил он. — Господи помилуй. Рупрехт теперь до самой Пасхи от колбасы шарахаться станет.

Смех перешёл в кашель. Отец кашлял долго, согнувшись над снопами, упираясь рукой в столб. Всё это время Эмма ждала, стиснув в пальцах мокрый колос. Когда кашель отпустил, отец вытер губы тыльной стороной ладони и снова взялся за сноп.

— Руки у Рупрехта нынче пустые остались, — сказал он, раскладывая колосья. — Дождём полные. Видела?

— Видела.

— Генрих — мужик крепкий. Ежели решил, так решил. — Отец помолчал. — А долг наш, дочка, дождём с бирки смыть — всё равно что сажу с моих рук. Шесть мер да седьмая сверху.

Эмма поворошила снопы. Потом выпрямилась.

— Я слышала ночью. Про Звёздку.

Отцовские руки замерли над снопом. Свеча в фонаре потрескивала, и по стенам риги ходили длинные косые тени.

— Слышала, значит, — сказал он наконец.

— Слышала.

Отец вздохнул — долго, всей грудью, и на этот раз обошлось без кашля.

— Поглядим, дочка. Пшеница, слава Богу, уцелела. Рожь добрая. Обмолотим, свезём Рупрехту что положено, а там поглядим. Может, до Михайлова дня что и придумается.

Эмма кивнула и снова взялась за снопы.

Дождь на крыше зашуршал гуще. Отец раскладывал колосья, а сам то и дело поглядывал на дочь из-под бровей.

— Ты мне лучше вот что скажи. Как ты попа по мосткам провела? Он же на ногах — что мешок с репой. Я, признаться, ждал, что оба в ручье окажетесь.

— Тихонько. — Эмма пожала плечами. — Как ты учил. Пятку мягко, потом носок.

Отец хмыкнул.

— Помнишь, значит.

— Помню. И косулю помню.

Ей тогда минуло восемь. В ту осень отец жёг уголь за Сухим логом и взял её с собой на две ночи: мать ходила последними днями перед Гансом, и дома ей хватало хлопот с одной собой. Эмма помнила шалаш из лапника, пахнущий смолой, и тёплую тушу угольной кучи, которая дышала сквозь дёрн, как спящий зверь. Помнила, как отец растолкал её затемно, приложил палец к губам и вывел наружу, в сырой, пропахший дымом туман.

«В лесу ступай так, чтобы тебя слышала одна земля, — шептал он, присев перед ней на корточки. — Пятку ставь мягко, потом носок. Вес на ногу переноси, только когда нащупаешь, что под ней».

Шли долго, медленно, от ствола к стволу. А потом на краю поляны, в молочном тумане, Эмма увидела их. Косуля стояла по колено в траве, рыжая, тонконогая, и уши её поворачивались то туда, то сюда, будто два листа на ветру. Рядом, прижавшись к её боку, топтался пятнистый косулёнок. Эмма пошла к ним — шаг, другой, пятый, пятку мягко, потом носок, — и под седьмым шагом звонко, на весь лес, хрустнула сухая ветка. Мелькнули белые зады. Поляна опустела. А Эмма села в мокрую траву и заревела от обиды, в голос, на весь лес. Отец хохотал так, что сам закашлялся, а потом посадил её к себе на плечи и понёс назад, к шалашу, к дымной угольной куче, и она всю дорогу всхлипывала ему в шапку.

— Весь лес тогда своим рёвом перебудила, — сказал отец, будто подслушал. — Медведи, небось, до весны ворочались.

Эмма засмеялась. Засмеялся и отец, и опять закашлялся, и махнул рукой.

— Старею. Сон от меня третью ночь бегает. Лягу — а перед глазами бирка Рупрехтова, зарубка за зарубкой. — Он потёр грудь. — Хоть овец считай, как Курт советует. Да куда там. Курт с овцами полжизни спит плохо.

— Ляг сегодня пораньше.

— Лягу. — Отец криво усмехнулся. — Толку-то.

Скрипнули ворота. Мать вошла в ригу, пригнувшись, накрыв голову пустым мешком, с горшком в руках, обёрнутым тряпицей. От горшка валил пар и пахло репой и салом.

— Ешьте, работнички. Остынет.

Она поставила горшок на перевёрнутую кадку, выложила ложки. И тут взгляд её упал на Эммин подол. В свете фонаря холст висел двумя лоскутами, от колена до самой щиколотки.

— А это что?

Эмма опустила глаза на подол. Град. Можно свалить на град: в такой кутерьме кто разберёт, где рвётся холст. Мать смотрела и ждала.

— Порвала, — сказала Эмма. — О кол у кузнецова плетня. Угол срезала, когда за отцом Ульрихом бежала.

Мать вздохнула — тяжело, по-хозяйски, как вздыхают над разбитым горшком.

— Холст с Пасхи новый… Снимешь завтра, зашью.

— Кузнецовой иглой, — вставил отец.

Мать метнула в него такой взгляд, что отец уткнулся в горшок с похлёбкой. Пряча улыбку, Эмма отвернулась к снопам. Завтра. Завтра праздник, завтра заедут торговцы.

Ели втроём, прямо на току, черпая похлёбку по очереди. Дождь шуршал, свеча потрескивала, мышь в углу затихла, притаившись. Потом отец отложил ложку, протянул руку и положил тяжёлую ладонь Эмме на макушку. Подержал. Ладонь пахла мокрой соломой и дымом.

— Ступай спать, дочка. Мы тут с матерью доворошим.

Эмма вышла под дождь. Двор тонул в темноте, под ногами хлюпало, с крыши дома лило в бочку, и бочка переливалась через край. За огородами, за мостками, шумел ручей — полный, быстрый, живой. Позади, в воротах риги, желтел фонарь, и оттуда долетали голоса родителей, тихие, неразборчивые, и отцовский кашель.

***

Утро Большого Богородичного дня пришло умытым.

Дождь кончился затемно, и небо за ночь выполоскало себя дочиста, до прозрачной, звонкой голубизны. Солнце поднималось над холмами в чистом воздухе, и соломенные крыши Эрленбаха парили под его лучами, словно бока лошадей после долгой скачки. Лужи на улице отражали небо, и в каждой плыло по маленькому облаку. Пахло мокрой землёй, мокрой соломой, мокрым деревом — и чем-то ещё, свежим, острым, чего Эмма за три недели суши успела забыть.

Ручей ревел. За ночь он вспух, помутнел, поднялся до самых мостков и теперь катил мимо деревни бурую, быструю, пенную воду, волоча сорванные ветки и клочья соломы. Ольхи стояли по колено в потоке, и листья их, отмытые от пыли, блестели тёмной зеленью.

Мать постояла у ворот, глядя на ручей, и кивнула сама себе.

— Завтра стирать пойдём. Воды теперь хоть залейся.

Работать в праздник грех, и утро тянулось неспешно, по-воскресному. Эмма надела праздничную юбку, синюю, крашенную вайдой, — порванная будничная лежала на лавке, дожидаясь материной иглы. Платок, унесённый вчера ветром, так и сгинул где-то в поле, и мать молча достала из сундука свой старый, праздничный, с вышитой красной каймой. Повязала дочери сама, поправила узел, отступила на шаг и оглядела.

— Носи. Мне он теперь без надобности.

Эмма тронула пальцами вышитую кайму. Красные нитки выцвели от времени до цвета шиповника. Этот платок мать надевала на свою свадьбу — так рассказывала бабка Гертруда ещё в Эммином детстве.

Перед выходом Эмма сунула руку в щель между брёвнами, вытащила узелок с пфеннигами и спрятала его за пазуху, поближе к телу.

К церкви шли всей семьёй, осторожно переступая через лужи. Эмма несла свой букет, обеими руками, коровяком вверх. Жёлтая свеча цветов покачивалась над головой, и от букета пахло так густо, что Петер шёл рядом, задрав нос, и принюхивался, как щенок.

Ганс убежал вперёд с первыми петухами. Пономарь, узнав о вчерашнем, сам разрешил ему звонить к обедне — в награду за стёртые ладони. Теперь колокол бил над Эрленбахом мерно и торжественно, и в каждом ударе слышалась такая гордость, что прохожие улыбались.

Церковь в Эрленбахе стояла маленькая, приземистая, с толстыми белёными стенами и узкими окнами. Внутри пахло воском, ладаном и сырой шерстью праздничных одежд. На стене против входа во всю высоту тянулся святой Христофор с младенцем на плечах — огромный, выцветший, с облупившимися ступнями. По поверью, кто утром взглянет на святого Христофора, тот до вечера убережётся от внезапной смерти, и Эмма, входя, первым делом подняла на него глаза, как делала с детства.

Народу набилось столько, что стояли плечом к плечу. Мужчины справа, женщины слева, дети где придётся. Каждая женщина, каждая девушка держала перед собой букет, и букеты тянулись к алтарю, как молодой лес. Запах трав заполнил церковь до самых стропил: пижма, мята, полынь, душица. Он перебивал и воск, и ладан, и людской пот.

На передней скамье, единственной в церкви, сидела семья мельника: Рупрехт — прямой, неподвижный, в новой суконной котте, с каменным лицом; Кунигунда — в высоком белом чепце, туго накрахмаленном, с платочком в пухлой руке; между ними Фриц, и уши его в полумраке церкви светились, словно два фонаря.

Отец Ульрих вышел к алтарю в праздничном облачении, отслужил обедню, а потом взял кропило, спустился в народ и медленно пошёл между рядами, окропляя букеты святой водой.

Капли летели веером, падали на цветы, на руки, на лица. Одна угодила Эмме на щёку, прохладная, и Эмма прикрыла глаза.

Проповедь вышла короткой. Отец Ульрих говорил о Богородице, о том, как Она взошла на небо и всё, что оставила на земле, — это мы, грешные, и Она каждого из нас помнит, каждую нашу слезу сочла, до единой, и счёт тот вернее любой бирки.

При слове «бирка» по церкви прошёл шорох. Кто-то кашлянул в кулак. Кунигунда замахала платочком быстрее.

— Господь посылает дождь на праведных и неправедных, — сказал священник и, помолчав, кротко добавил: — И на мельников тоже.

Вальтер за спиной Эммы хрюкнул так громко, что Бригитта ткнула его локтем под рёбра. Женщины прятали лица в букеты. Плечи у мальчишек тряслись. Рупрехт смотрел прямо перед собой, и шея его над воротом котты медленно наливалась свекольным цветом.

После обедни народ высыпал на площадь под липу. Солнце уже пригревало, от мокрой земли поднимался лёгкий пар. Отец Ульрих остановился у церковных дверей и окликнул старосту — громко, на всю площадь:

— Генрих! Поперечные вчера все на поле оставили?

— Все до единого, отче. — Староста снял шапку. — Рупрехт вечером сам по полю прошёл, при фонаре. Дважды пересчитал.

Мельник, проходивший мимо со своими, на миг замедлил шаг.

— Сошлось, — буркнул он, глядя в сторону.

— Вот и слава Богу, — сказал отец Ульрих и благословил площадь широким крестом.

Марта вылетела из толпы, как затычка из бочки, схватила Эмму за руку и утащила за угол церкви, к старой каменной ограде, подальше от чужих ушей.

— Отказал! — выпалила она. Глаза у неё горели, щёки пылали, руки метались: теребили то косу, то край передника, то Эммин рукав. — Отец отказал Рупрехту! Вчера, в поле, под самым дождём! Мельник ему руку тянет, по рукам ударить, а отец ему: «Отдать мою Марту в твой дом — всё равно что сноп в грозу на поле бросить». Так и сказал! Слово в слово! Йокль слышал, он мне и пересказал.

— Видела я, — сказала Эмма. — Издалека. Как он спиной повернулся.

— Бабка до полуночи бушевала. Отца дураком честила, меня — неблагодарной, Графиню — и ту приплела. А утром… — Марта засмеялась и всхлипнула разом. — А утром встала раньше всех и пирог мне испекла. С маком. Молча. Поставила на стол, буркнула «ешь, горе моё» и ушла в огород.

Она обхватила Эмму за шею и закружила вокруг себя, так что обе едва удержались на скользкой траве. Букеты взметнулись, коровяк хлестнул Эмму по щеке. Отдышавшись, Марта отстранилась и хитро прищурилась.

— А Лукас у Михеля вдовьего выспрашивал, придёшь ли ты вечером на дожинки.

— На дожинки вся деревня придёт.

— Вся деревня. — Марта кивнула с серьёзным видом. — А выспрашивал он про тебя одну.

Эмма шлёпнула её букетом по плечу, и с полыни посыпались сухие листья.

Дома Эмма первым делом взобралась на лавку и повесила освящённый букет под матицу, над распятием, привязав стебли к деревянному колышку. Коровяк свесился вниз жёлтой свечой. Запах трав пополз по избе, смешиваясь с дымом очага. Мать глянула снизу, прищурилась, поправила пальцем один стебель и одобрительно кивнула.

В дверях стоял отец и долго смотрел то на букет, то на чистое, промытое небо за порогом.

— Вчера бы его, — сказал он наконец. — Святые травы. От грозы.

— Вчера их Бог ещё только собирался благословить, — отозвалась мать.

— Вот то-то и оно.

С площади, из-под липы, донёсся первый визг скрипки — кто-то настраивал струны. Следом ухнул бубен, неуверенно, на пробу. Петер подпрыгнул на месте, Ганс уже стоял в дверях, приплясывая от нетерпения. С колышка отец снял шапку, отряхнул её о колено и надел.

— Ну, — сказал он. — Пошли праздновать.

***

Площадь под липой за одно утро переменилась до неузнаваемости.

Вдоль церковной ограды мужики выставили козлы, положили на них доски — и получились столы, длинные, через всю площадь. Староста выкатил из погреба бочку пива и поставил её на чурбак под самой липой, словно трон. Над костром у колодца висел котёл, и в нём булькала баранья похлёбка: Генрих заколол к празднику лучшего барана из своего стада, и по деревне шептались, что заколол на радостях. Женщины несли из домов хлеб, сыр, варёные яйца, миски с кислой капустой. Вдова Димут пришла с корзиной медовых лепёшек, румяных, ещё тёплых, и первым делом, прежде чем поставить корзину на стол, обошла Хофферов и кузнецов, оделяя каждого по лепёшке.

— За вчерашнее, — сказала она коротко и отвернулась, пряча глаза.

Йокль тащил вслед за старостой вторую бочку, пыхтя и отдуваясь. По словам Марты, отец взял его к себе в работники прямо с утра — на место Рупрехтова расчёта.

Отец Ульрих благословил столы, и праздник начался.

Первым делом девушки взялись за Старуху. Последний сноп этого лета оставили нарочно, с самого края старостиной полосы, и теперь он стоял у липы, прислонённый к стволу, толстый, золотой, туго перевязанный. Девушки нарядили его, как нарядили бы невесту: повязали платок, надели передник, сплели из колосьев руки и воткнули в них пучок васильков. Бабка Гертруда пришила сверху лоскут с угольными глазами и красным ртом. Вышла Старуха — толстощёкая, важная, до того похожая на Кунигунду, что женщины прыснули.

Нести её полагалось вокруг липы три раза, с песней, а потом к дверям старосты. А кто нёс — та, по старому поверью, выйдет замуж в тот же год.

Марта ухватила Старуху обеими руками, крутанулась на пятке и сунула её прямо Эмме в объятия.

— Неси!

— Марта!

— Неси, неси! — подхватили девушки. — Эмма несёт! Хофферова несёт!

Бригитта захлопала в ладоши, и от кузнецова стола понеслось на всю площадь:

— К Рождеству сватов жди, девка!

Смех прокатился по столам. Эмма стояла со Старухой в руках, красная до самых ушей, и колючая солома щекотала ей подбородок. Потом вздохнула, прижала сноп покрепче и пошла вокруг липы. Девушки двинулись следом, взявшись за руки, и завели старую песню про серп и про колос — ту, что пели в Эрленбахе на дожинках испокон веку, ещё до прадеда нынешнего старосты. Один круг, другой, третий. Старуха смотрела на Эмму угольными глазами и важно покачивала васильками.

У дверей старостина дома Генрих принял сноп из Эмминых рук, поклонился ему, как гостю, и понёс в дом, под матицу — до будущей жатвы.

Заиграла музыка.

Одноглазый Хайнц, брат бондаря, сидел на пустой бочке и пилил на скрипке, зажмурив свой единственный глаз и притопывая ногой. Рядом мальчишка лет двенадцати дудел в берестяную дудку, пуча щёки. Бубен достался Курту: старик колотил по нему ладонью вразнобой, зато от души, а пёс лежал у его ног и подвывал на высоких нотах.

Сначала пошли хороводом вокруг липы — все, от мала до велика, взявшись за руки, так что круг растянулся на всю площадь. Потом хоровод рассыпался на пары. Топали, кружились, хлопали в ладоши, взвизгивали. Земля под ногами, ещё сырая после дождя, чавкала, и праздничные юбки быстро покрылись брызгами грязи до колен. Эмма увидела, как отец, раскрасневшийся от пива, вытащил в круг мать. Сперва Агнес отмахивалась, упиралась, качала головой — а потом вдруг засмеялась, подхватила юбку и пошла с ним, легко, мелко перебирая ногами, как, наверное, ходила в девках. Петер, увидев это, застыл с открытым ртом, и медовая лепёшка выпала у него из руки.

Торговец приехал, когда солнце покатилось к лесу.

Мул его, пегий, сонный, тащил на спине два огромных тюка, перетянутых ремнями, и позвякивал на каждом шагу. Сам торговец, сухой, жилистый, с обветренным лицом и серебряной серьгой в ухе, снял тюки у церковной ограды, раскинул на траве рогожу и принялся выкладывать товар. Вокруг рогожи тут же сгрудились дети, а следом и бабы.

Чего там только нашлось! Ленты, красные, зелёные, жёлтые, свёрнутые в тугие кольца. Гребни из рога и из кости. Медные пряжки, пуговицы, булавки. Ножи в кожаных ножнах. Мешочек соли и мешочек перца, от которого у Петера сразу засвербело в носу. Стеклянные бусы, синие, как вода в колодце. И на куске чёрного сукна, в ряд, как солдаты, — иглы. Стальные, тонкие, блестящие, с аккуратными ушками.

Эмма дождалась, пока схлынет толпа. Присела на корточки у рогожи.

— Почём игла?

Торговец окинул её взглядом: праздничный платок с выцветшей каймой, загорелые руки, обломанные ногти.

— Три пфеннига, красавица. Штирийская сталь. Век прослужит.

Эмма достала из-за пазухи узелок, развязала. Два медных пфеннига легли на ладонь, тёплые от тела.

— Два.

Торговец посмотрел на монеты, потом на неё. Потёр подбородок.

— Праздник нынче, — сказал он наконец. — Ладно. Бери за два.

Он выбрал иглу, самую длинную, обернул её в клочок мягкой кожи и вложил Эмме в ладонь. Пальцы сомкнулись на свёртке. Игла весила меньше соломинки, но кулак Эмма донесла до самого стола сжатым и только там спрятала свёрток за пазуху, туда, где прежде лежал узелок.

У рогожи тем временем собрались мужики, и торговец, отмеряя соль бондарю, рассказывал новости с дорог.

— На юге, говорят, мор, — бросил он между делом. — В Венеции, в Генуе, по портам. Корабли в гавань пускать перестали.

Бондарь перекрестился.

— Далеко.

— Горы между нами, — отозвался кто-то. — Господь милостив.

— Там всегда мрут, — хмыкнул Вальтер. — От вина да от грехов.

Мужики засмеялись, торговец пожал плечами и завязал мешочек с солью. Разговор свернул на цену железа в Юденбурге.

А Марта уже сидела возле рогожи на пятках, обхватив колени, и смотрела на торговца снизу вверх так, как смотрят в церкви на святых. Спрашивала что-то, торговец отвечал, разводил руками, показывал что-то большое. Эмма поглядела на них издалека, улыбнулась и вернулась к столу, где Петер пытался стащить у Ганса лепёшку.

К вечеру развели костёр посреди площади, и под липой зажгли смоляные факелы. Пиво из второй бочки текло рекой. Курт взгромоздился на скамью и застучал кружкой по столу, требуя внимания.

— Рассказать вам, соседи, как я в Мариацелль ходил?

— Рассказывал уже, Курт! Сто раз!

— Значит, в сто первый послушаете. — Старик отхлебнул пива. — Двадцать лет мне минуло. Пошёл я к Пресвятой Деве в Мариацелль просить жену. Добрую, работящую, тихого нрава. Шёл девять дней. Все ноги сбил. Помолился, свечку поставил в палец толщиной — последний пфенниг на неё отдал. Иду назад. И у самого Брука, в канаве, скулит щенок. Мокрый, тощий, одни уши. — Курт выдержал паузу. — Вот так Богородица мне и ответила. Жену, видно, пожалела. А собаку дала.

Площадь грохнула хохотом.

— Сорок лет с тех пор живу, — заключил Курт, почёсывая пса за ухом. — Правнук того щенка у меня нынче. И скажу вам, соседи: Богородица своё дело знает.

Хайнц заиграл снова, быстрее, веселее, и пары опять пустились в пляс вокруг костра. Эмма стояла у стола, держа на руках сонного Петера, и смотрела, как пляшут. Искры от костра взлетали в тёмное небо и гасли где-то высоко, среди первых звёзд.

Кто-то кашлянул рядом. Эмма обернулась.

В двух шагах стоял Лукас, в чистой рубахе, умытый, с мокрыми ещё волосами, приглаженными пятернёй. Большие руки он вытирал о штаны, раз и другой, хотя отмыл их, видно, до скрипа.

— Пойдёшь? — спросил он и кивнул на круг.

Эмма растерялась. Оглянулась — и тут же рядом возникла Марта, выхватила у неё из рук сонного Петера и подтолкнула в спину.

— Иди уже!

Плясали недолго, всего один раз. Хайнц заиграл прыгучую, с притопом, и пары понеслись по кругу, кружась, меняясь местами, хлопая в ладоши. Руки у Лукаса оказались горячими и твёрдыми, как нагретое дерево, но держал он Эмму осторожно, едва касаясь, словно брал из горна подкову голыми пальцами. На повороте он наклонился к ней и сказал, запыхавшись:

— Графиню-то сегодня звать забыли.

Эмма засмеялась, сбилась с шага, наступила ему на ногу — и засмеялась ещё сильнее. Рассмеялся и Лукас, и тут музыка кончилась.

Руки её он отпустил, неуклюже поклонился — так низко, что Эмма отпрянула, — и ушёл к мужикам, к отцовскому столу. Там его встретил хлопком по спине Вальтер, и Лукас качнулся вперёд на целый шаг. Через всю площадь на Эмму поглядела Бригитта — долгим, оценивающим, вполне довольным взглядом, так смотрят на тёлку на торгу.

К столу Эмма вернулась с горящими щеками. Марта сидела там с Петером на коленях и ухмылялась до ушей.

— Молчи, — сказала Эмма.

— Молчу, — согласилась Марта. — Я только смотрю.

Семья мельника пришла, когда костёр уже прогорел до багровых углей. Рупрехт сел на самом краю, у ограды, и налил себе пива сам, из своей фляги. Рядом в своём высоком чепце устроилась Кунигунда и оглядывала площадь, поджав губы. Фриц постоял, помялся и робко присел к бондаревым сыновьям. Разговоры у ближних столов стихли, потом зазвучали снова, но уже вполголоса.

Бригитта у кузнецова стола выпрямилась. В ответ медленно повернулся к ней высокий чепец. Две женщины посмотрели друг на друга через площадь. Мельничиха наклонилась к соседке, жене Экхарта, и сказала ей что-то на ухо, поглядывая на кузнецов. Соседка прыснула в ладонь. Бригитта побагровела. Рядом с ней Вальтер медленно поставил кружку на стол.

— Эмма! — Мать пробиралась к ней между столами. — Уведи мальчишек. Петер спит, а Ганс вон носом клюёт, того гляди в костёр упадёт.

Ганс и правда сидел на скамье, раскачиваясь, с полузакрытыми глазами, и упорно твердил, что спать ему рано.

Петера Эмма забрала у Марты и взвалила на плечо, тяжёлого, тёплого, пахнущего мёдом и дымом. Ганса ухватила за руку.

— А ты? — спросила она Марту.

— Я останусь. — Марта покосилась через площадь, туда, где Бригитта уже поднималась со скамьи. Глаза у неё блестели в свете факелов. — Тут сейчас самое интересное начнётся. Завтра на стирке всё расскажу!

Эмма повела братьев прочь от липы. У поворота обернулась. В свете факелов белел высокий чепец мельничихи, и Бригитта шла к нему через площадь, уперев руки в бока, а за ней, поднимаясь из-за стола, вырастала огромная фигура кузнеца. Скрипка Хайнца как раз пустилась вскачь.

Потом улица свернула, плетни заслонили площадь, и музыка осталась позади — всё тише, всё глуше, и в конце концов её перекрыл шум полного ручья.

***

В доме стояла темнота, тёплая и густая, как овчина. Пахло остывшим очагом, хлебом и травами: освящённый букет под матицей отдавал в темноте всё, что набрал за день на солнце.

Петера Эмма уложила на овчину у очага, стянула с него праздничную рубаху, укрыла дерюгой. Младший только причмокнул во сне и свернулся калачиком. Ганс ещё бормотал, что спать ему рано, что он сейчас вернётся на площадь, что Лукас обещал показать, как куют подковы, — бормотал всё тише, всё медленнее, и наконец голова его сама собой опустилась на овчину рядом с братом. Через миг он уже сопел.

Эмма присела на корточки перед очагом и разгребла золу щепкой. Под серой шубой ещё тлело: несколько угольков, тёмно-красных, сонных. Она подложила к ним сухую щепу, подула — бережно, долго, — и над золой затеплился маленький огонёк. Света от него хватало ровно на то, чтобы видеть собственные руки.

Из-за пазухи она достала кожаный свёрток и положила на колени. Развернула. Игла лежала на коже тонкой светлой чертой, и огонёк очага бежал по ней от ушка к острию, как капля по стеблю. Эмма смотрела на неё долго. Потом завернула обратно и зажала в кулаке.

Родители вернулись поздно. Сперва за воротами послышалось пение — отец тянул дожиночную песню про серп и колос, фальшиво, от души, путая слова. Потом голос матери, тихий, смеющийся: «Конрад, тише, дети». Потом стукнула калитка, дверь отворилась, и отец ввалился в дом, задев плечом косяк.

— А! — сказал он громким шёпотом, увидев огонёк и дочь у очага. — Сидит! Эмма наша сидит, караулит! Агнес, гляди, караулит нас!

— Вижу, вижу. — Мать мягко подтолкнула его к перегородке. — Ступай, ложись. Святой Флориан, ну и тяжёлый ты, Конрад, когда пива напьёшься.

— Я праздновал, — с достоинством объявил отец и скрылся за перегородкой. Скрипнули доски, зашуршала солома. Отец снова затянул песню, на полуслове сбился, засмеялся сам с собой — и затих.

Мать постояла, прислушиваясь. Потом опустилась на лавку у очага и потянула дочь к себе, усадив рядом. От неё пахло дымом костра, пивом, бараньей похлёбкой и чуть-чуть — травами из Эмминого букета. Она протянула руку и развязала на дочери свой старый свадебный платок, медленно, узел за узлом. Сложила его вчетверо, разгладила ладонью на колене. Потом положила эту ладонь Эмме на волосы и провела по ним — раз, другой, от макушки до конца косы.

Так мать гладила её в детстве, когда Эмма болела. С тех пор прошло много лет.

— Лукас-то, — сказала мать куда-то в сторону очага, будто между делом, — парень работящий.

— Мама…

— А что — мама? Я просто говорю. Работящий. И кузня у них крепкая.

— Мама!

Мать тихонько засмеялась, прикрыв рот ладонью — мальчишки спали, — и Эмма прыснула следом, уткнувшись лбом в её плечо.

Потом Эмма выпрямилась, разжала кулак и протянула матери кожаный свёрток.

— Это тебе.

Мать взяла свёрток, развернула. Игла легла ей на ладонь, и огонёк очага снова пробежал по ней — от ушка к острию. Мать замерла. Долго смотрела на иглу, поворачивая ладонь то к огню, то от огня, и игла вспыхивала и гасла, вспыхивала и гасла. Горло у матери дрогнуло.

— Откуда? — спросила она наконец, тихо, севшим голосом.

— Яйца. Весь июль мельничихе продавала.

Мать подняла на неё глаза. Уголки губ у неё поползли вверх — раз, другой, — и вдруг она беззвучно затряслась от смеха, прижимая к груди ладонь с иглой.

— Мельничихе… — выдохнула она. — Кунигунде… Господи… Значит, Графиня мне иглу купила.

Она смеялась, а по щеке у неё сползала слеза, и мать смахнула её тыльной стороной руки, сердито, будто муху. Потом аккуратно воткнула иглу в край своего п

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.